

## БАЛКОН

Моего друга зовут Айзек, он из Эфиопии. В Израиль он прибыл в трехлетнем возрасте, и по дороге его чуть не съели. Дело было во время великого кризиса. Отец Айзека умер во время прорыва беженцев из заблокированной провинции Гондэр. Мать несла Айзека на себе и всегда держала в руке камень, потому что к ней подступали тени обезумевших от голода людей. Они могли отнять ребенка. Какое-то время семья провела в лагере для беженцев. Муж заболел и его поместили в больницу. Вскоре мать собралась к нему в город и оставила Айзека на попечении женщин. В больнице ей сказали, что муж умер, а когда она вернулась в лагерь, он оказался разрушен солдатами — и ни одного человека, всех угнали обратно за рубеж. Год мать была разлучена с сыном, достигнув Израиля. Но прошло много лет, Айзек работает инженером.

Очередной сентябрь начался. Роса упала. Слабеет солнце. Чуть прохладней становится великий город. Человек, как время года, стареет внезапно. Он просто начинает слышать музыку, которая интересней слов. Так наступает немота. Отдельные предметы становятся дороже мира. Когда я возвращаюсь домой, я раздеваюсь и подставляю себя ветру. Мы с Эвой переехали из Рехавии на гористую Хар Хому и живем на последнем двадцатом этаже, дальше только небо, птицы, самолеты, так что никто не видит меня на моем балконе.

Иногда ко мне заходит Айзек, и мы сидим друг напротив друга, играем в шахматы и курим кальян. Если я проигрываю, я рассказываю ему какую-нибудь свою историю.

Случается, к нам заходят женщины, точней, залетают на двадцатый этаж — это ведьмы, особенные иерусалимские ведьмы. (Наш город вообще город ведьм, здесь каждая вторая Лилит, если честно.)

Я прихожу с работы, отмокаю под душем и ложусь на кушетку на балконе пялиться в небо, на пролетающие самолеты, на купающихся в синеве голубей. И если мне интересно, я открываю на смартфоне FlightRadар и вижу, откуда и куда летит самолет. Что может быть прекрасней неба, его первых звезд, особенно когда ты постарел. Небо мое море, я могу пялиться в него сколько угодно, особенно если хорош кальян, ты тогда можешь бесконечно смотреть в себя и видеть свою пустоту. Мне нравится смотреть в себя и понимать, что ты меньше любого атома, и в то же время размером с вселенную. Но последнее менее интересно, потому что любые размеры печалят. Зато пустота меньше точки.

Еще я люблю вспоминать. На балконе мне в голову приходят разные воспоминания, незначительные и не очень, но все словно не имеющие ко мне отношения. Например, недавно я вспоминал, как впервые оказался в Сан-Франциско. Первый человек, который заговорил со мной, был бездомным. Он ночевал на берегу океана, а я утром брел по пляжу.

Он стрелял у меня сигарету, я дал две и спросил, кто вы? «I am a bum». Таков был мой первый урок английского. Я ходил по городу с распахнутыми глазами и на Ashbury Heights зашел в мастерскую пирсинга, он тогда только входил в моду, и я стоял перед картой человеческого тела и читал описания, каких духов можно заклясть, если проткнуть себя в том или другом месте. А еще я вспомнил, как там же, в Сан-Франциско, попал впервые на вечеринку, самую настоящую вечеринку, которую устраивала моя первая учительница английского, светлокудрая красавица Мишель. Я пришел и мне сразу налили водки, сказали — пей, покажи, как русские умеют пить, и я не смог, и потом мне было так стыдно, что я не смог показать, как умеют пить русские, мне долго еще было не по себе потом, хотя Мишель тогда меня утешала и утешала. Но с тех пор, как я стал таким старым, что внутри пустота часто стала говорить мне: «Здравствуй!» — мне теперь не стыдно, не стыдно даже то, что в той мастерской пирсинга я сделал себе обрезание — мне давно хотелось узнать, каково это библейское заклятие, и я узнал его сполна.

Айзек говорит: «Эка невидаль. Я тоже обрезан!» и расставляет заново фигуры на доске, ожидая заработать себе еще одну мою историю.

А еще, рассказываю я Айзеку, как-то раз я принес доставку девице, пытавшейся расплатиться неоплатным чеком, и как она была соблазнительна, словно предлагая себя за пиццу, и какая психоделическая музыка загадочно играла в огромных колонках.

Айзек снова расставляет фигуры, и я вспоминаю, как после Сан-Франциско уехал в Алабаму. Я жил в Тускалусе и ходил в университетскую библиотеку, где читал книги на русском языке, много неведомых прекрасных книг...

И вновь мой черед рассказывать историю. Это легенда о голубой верблюдице.

Дело в том, что бедуины знают каждого верблюда в лицо, точно так же, как и каждый холм, каждый овражек в обширнейших своих пустынных владениях. Легенда о голубой верблюдице сообщает нам, что есть среди верблюдов некая каста, тщательно оберегаемая разведением — это верблюдицы, с высоким интеллектом, способным ориентироваться в пустыне. Голубые верблюдицы нужны бедуинам для различных целей (волшебное целительное молоко, матриархальные качества в стаде), в частности и для автономных действий. Рассмотреть лик пустыни на порядок сложнее, чем сквозь телескоп разобраться в карте звездного неба. Процедура обучения начинается с создания верблюжьего рая: в определенном тайном месте, вне стойбища, за верблюдицей ухаживают как за принцессой — вдоволь кормят, поят, ласкают. Затем, когда она совершенно привыкнет к такому образу жизни, переходят с ней границу в обычном порядке пограничного контроля, не способного отличить одного верблюда от другого. На новом же месте, прежде чем отправить животное с грузом обратно, устраивают верблюжий ад: не поят, не кормят, бьют, и когда ситуация становится невыносимой, опасной для жизни, верблюдица снаряжается в обратный путь. Такой самостоятельный целеустремленный транспорт пограничникам не только трудно перехватить, но, если они это и сделают, с бедуинов взятки гладки. Оказавшись наедине с пустыней, голубая верблюдица совершает чудо — она выбирается благополучно из ситуации затерянности, распутывает своим умом пути в пустыне, проламывается через границу и возвращается туда, где ей было хорошо. Мне кажется, эта легенда о голубой верблюдице описывает определенную метафизическую ситуацию, когда, не зная ни ада, ни рая, сдвинуться с места едва ли возможно.

А вот еще одна история для Айзека. Однажды я ехал на поезде из Москвы в

Симферополь. В те времена мы ездили в Крым несколько раз в году и никогда не покупали билетов — просто приходили на перрон перед отправлением и, протянув проводнику деньги, забирались на указанную им третью полку. Поезд трогался и за окном сначала бесшумно, затем с мерным торжественным постукиванием колес и наконец с напористой их дробью разворачивалась картина страны, знакомая еще с незапамятного детства, столь празднично замороженного сменой среднерусского пейзажа картинами юга, приметы которого душа выхватывала с жадностью. Лето на юге наступает раньше, и путешествие вдоль меридиана нарядно окрашено также и переменой во временах года, вот почему встреченные наконец за Курском пирамидальные тополя, их устремленные в небо верхушки означали каникулярную радость движения к летней свободе. Я без труда часами смотрел неотрывно то в окно, то в книгу, не шевелясь, как и было велено проводниками, во избежание проблем с начальником поезда. В связи с этим целые сутки я ничего не ел, но в тот раз голод одолел, и пришлось выйти в Мелитополе за пирожками. Многие знают эту вокзальную особенную торговую толчею, возбужденную переменой мест и желанием размяться. Как вдруг в какой-то момент по громкой связи было объявлено, что стоянка сокращена. Пассажиры кинулись от ларьков и разносчиков врассыпную по своим вагонам, я поспешил вместе со всеми, поезд уже тронулся, загредел по длине своего состава вагонными сцеплениями, и в те же секунды раздался неподалеку душевраздирающий женский крик: «У-у-би-ли!». Толпа дернулась снова, разбежалась рывком, и в образовавшейся пустоте на моем пути возникло на асфальте тело человека, упавшего навзничь, вся грудь была залита кровью. Я отшатнулся, впрыгнул на ходу на подножку и пошел по проходу, провозжая

взглядами в окно ужасную картину и вдруг ходолея от мысли, что, может быть, убийца впрыгнул точно так же, как и я, в соседний вагон. Остаток дня я не находил себе места, я бродил по поезду из конца в конец, пытаюсь определить, в каком состоянии находится расследование. Но никаких следов такового я не обнаружил, создавалось впечатление, что только мне привиделось происшедшее на вокзале. Наконец, я решился обратиться к проводникам с расспросами, но и они находились в полном неведении. С тех пор я всегда вспоминаю этот случай, когда приходится думать о безнаказанности (хотя логично предположить, что преступник и свидетели были обнаружены потом в оставшемся позади безвременье). Однажды мне пришло в голову, что такие нерасследованные преступления могут быть связаны. Скажем, взять каких-нибудь знаменитых, но неизвестных убийц вроде Джека-Потрошителя и Зодиака. Что если эти неизведанные преступления были совершены одним и тем же лицом — например, прибывшим из будущего — в ту или иную эпоху, каким-нибудь маниакальным существом, рожденным в эпоху свободных путешествий во времени?

Айзек ушел под вечер, он всегда уходит.

Вот и снова мы с тобой наедине, чистый лист. Старость еще узнается человеком по числу оставивших его друзей. Чем дальше в лес, тем гуще пустота. Старость происходит незаметно, так, как если бы вы заснули в поезде и проснулись от ужаса уже на вокзале древности. При том, что мало что похоже на жизнь так же, как археология. Страница за страницей, слой за листом, многое перепутано землетрясениями, как во взорванной библиотеке, скомкано, сжато до мгновения расставания. Отчетливо помнятся только даты рождения и смерти, да и те постепенно стекленеют в столбик на полдневном солнце, превращаясь в хрустальные башни, облик которых в юности так манил миражом. Подобно

стрекозе, ты лавируешь между ними, а башни все слепят и блистают, и ты закладываешь повороты все чаще и круче. Стрекоза стремится на свой пруд, на болото, но наступает зима.

Зима! Только воздушная яма хранит теперь аэронавта. Снег, неся в каждой снежинке ледяные, расчерченные небесным геометром миры, покрывает ими хитиновый корпус летательного аппарата, витражи крыльев, глазные яблоки кокпита. Сгустившаяся пустота, покачивая, вытесняет колыбель летчика, поднимает его все выше.

## **ОЛИВА, СОЛНЦЕ, РОЗА, ВОЗДУХ**

В этом городе просыпаешься, будто рождаешься заново. Сон здесь — без примесей небытие, священный отдых. Утром зеленым светом занимаются под рукой вещи. Он выходит на улицу, как лунатик, неспособный реальность отщепить от сна. Под ним разворачиваются раскопы. Культурный слой, тучный, как грех Ирода, раскачивается кротами с прожекторами в лапах. А вокруг — пахнет то гиацинтом, то розой или дурманом олеандра, и скоро болит голова. И путник просыпается в разгаре лета, в пылающем горниле полдня, в мозжечке ослепления, затмения, на поверхности нового палеозоя. И рассекает пробегом стеклореза гладь Мертвого моря, взлетает над Иорданом. Что ему вслед режут мастодонты? Тысячелетья? Эпохи? Периоды? Эры? В первые мгновения человек был не отличим от Бога, и, чтобы не перепутать, ангелы упросили Всевышнего наделить человека сном. И теперь после пробуждения над головой парашютом вспыхивает утро.

Здесь черным стеклом заложены глазницы камня. Ты проходишь мимо них и всё, что ты видел, чем жил, скоплено в этой

кристальной черноте, пригодной только для чернил: что может быть прозрачной для слова? Что еще, кроме слова, способно проникнуть в душу? Боль? Память? Страх? Смерть? — шелуха. Лишь слово способно войти и увлечь за собою наши поступки, нашу возлюбленную — душу — туда, где этот город обретает плоть. Там, в пустыне, открывающей за городом свой зев, внезапно встречаешь свои собственные следы — следы двойника, и тебя пронзает ужас возможности встретить его. Кто знает, насколько он тебя ненавидит? Здесь в узкой полоске тени в залитом зноем ущелье пасутся козы. Здесь можно утонуть после дождя и очнуться по ту сторону — со ртом, забитым глиной. Зимой здесь дыхание стужи испаривает ледяным лезвием подбрюшье. И разверстая, только что вспоротая туша жертвенного быка — единственная печь на всю округу. Забраться в нее, прижаться к печени, как к подушке. Здесь, в пустыне, так просто встретить себя самого и услышать: нет.

Внутри Храма — скалы. Керубы на них крылато сидят на корточках, зорко всматриваются в кристальную сердцевину Храма. Они неподвижны и насторожены, готовы повиноваться. Тальпиот благоухает свежeweыстиранным бельем. В садах переливается дрозд. В тишине женщина закрывает руками лицо. Тишина вылизывает ей глаза теплым шершавым языком. Далеко за пустыней, чьи горы парят над востоком, утопая в наступающей ночи, в сердце морей — по дну Мертвого моря тоскует моя душа — и, наконец, разглядев ее, керубы вдруг снимаются с места. Их крылья застилают глаза.

Замешательство на Котеле в Йом Киппур: японская туристка упала в обморок. Над ней склоняется медбрат, его пейсы пружинят, как елочный серпантин. Человек, отложив молитвенник, шаркает и хлопает белыми пластмассовыми креслами. Два чернокожих бразильца рыдают,

руками и лбом Храма: Obregado, Senhor, obregado! Накрывшись талитом, сосед тихо напевает слихот и тоже вдруг — плачет. Лицо взрослого бородатого мужчины, который сейчас уйдет, и никто никогда его больше не увидит, — мокрое от слез лицо сильнее веры, боли, муки, тьмы.

Жизнь здесь стоит на краю Иудейской пустыни, испытывает искушение шагнуть в нее, раствориться в ночном небе. Красота здесь вся без остатка пронизана последним днем Творения. У Яффских ворот пойманный велосипедный вор выворачивает карманы, полные ракушек.

Тристрамии над Масадой висают над пропастью, как бражники над цветами олеандра, беря из ладоней туристов крошки. Мертвое море внизу — лазурный меч, которым луна обрезает космы лучей солнцу. В этой небольшой стране — размером с тело Адама — от одной простертой руки до другой простертой руки меняется время года. Керубы снова всматриваются в меня и видят, как пятно солнечного света расплзается, исчезает.

Ночью две фигуры под столбом читают сны из молитв для молодого месяца; дрожат от холода и приплясывают. Белый теплый камень домов под луной кажется телом призрака. Мальчик засыпает внутри камня и видит сны моллюска, эти сны — крупинки известняка.

Незримые сады на подступах к Храму. В Армянском квартале тарактит мопед. В висячих садах за подпорными стенами, в листве, на ветвях и в кронах, спят воины последней битвы. Под Западной Стеной среди ног молящихся бродит горлица, тоскует горлом — зовет и зовет, а кого — не знает. Лохматый пес умирает на пустыре. Солнце жарит так, что даже мухи над ним обжигаются о воздух. Над помом понемногу вырастает клещевина.

В этом городе в полдень солнце прячется в глазной хрусталик. В этом городе «жизнь», «олива», «солнце», «роза», «воздух» —

однокоренные слова. Я перекаत्याю на языке корень слова «закат» в раздумье. Солнце опускается за карнизы, и в город вглядывается пустыня. Куст пахнет мускусом лисьей мочи, вдали хохочут сквозь слезы шакалы. В пустыне Давид настигает Авшалома, прижимает к себе, и оба плачут. Иаков поправляет под головой камень.

Днем солнцепек наполняет пламенем вади, склоны текут в мареве, в нем движешься, переливаясь. Овцы щиплют каменоломки. На плечи прыгают вспугнутые акриды. Вот пастух-бедуин в сандалиях из свитков Кумрана. Учитель Святости пишет и пишет и пишет мне письмо, я прочту его перед тем, как спущусь на дно, в сердце-вину Афро-Аравийского разлома.

Иногда ночью улицы Рехавии пахнут теплой ласковой пылью. Луна движется за мною на поводке, и ночь распускает свой синий парус. Я встаю на цыпочки и ножом распарываю парус. За ним сидят керубы, я слышу их затаившееся дыханье. О, этот стремительный полет! Рассвет тлеет в золе пустыни. Прозрачный гигант спускается спать к Иордану. С моря поднимается ветерок и трогает солью губы.

Олива, солнце, роза, воздух, пыль, горлица, глоток и камень. Ребро и ярус, мрак, ступень, волна. Одетая во всё черное молодая женщина спускается из Храма. Она идет в незримый сад, но медит, как будто что-то позабыв или услышав оклик. Оглянувшись, она всматривается в мокрое от слез лицо мужчины и остается стоять на ступенях.

## БЕЛЫЙ ГОРОД

На мраморной доске расставлены шахматные фигуры. Сад в окна перекипает бугенвиллией, благоухают плюмерия и олеандр; над соседней кровлей завис

бронзовый Будда, беременный солнцем. В квартире в Рехавии на потолке из флуоресцентной бумаги наклеены звезды. И когда Будда закатывается за кровлю, а сумерки втекают в сад и окна, бумажное созвездие тлеет над изголовьем.

Лунное тело перед балконной дверью, распахнутой в заросли роз и шиповника, — не решается сделать шаг: будущего не существует. Самое страшное во взрослой жизни — не то, что время истаяло, а невозможность застыть, уподобиться шпанской мушке, утопающей в слезе вишневой смолы. В Суккот поются нигуны, псалмы и песни. Окна распахиваются Малером, Марли, Верди... Воздух дворов зарастает монетами милостыни — серебро и медь заката сыплются каждому в душу.

Мир в это время года состоит из благодарения. Солнце падает в пять часов полудни, будто торопится к началу дня, как в детстве хотелось скорей заснуть, чтобы вновь насладиться утром. Человек состоит из голоса и горстки воспоминаний. Город, в котором он идет, подобно игле в бороздке, по узким, заросшим доверху камнем улочкам, заново извлекает одному ему ведомую мелодию.

Месяц отдыха и половодье праздников. Розы, шиповник, плюмерия отцветают, их ароматы слабеют и оттого печальны. Месяц Юпитера, катящегося слезой по скуле, месяц полной луны, висящей над городом, как великолепный улей — мыслей, томлений, грез. Эти пчелы собирают нектар с наших душ. В лунном свете руины прекрасны. Черепица обрушенных кровель похожа на чешую. Ангелы проносятся над улицами, заглядывают в окна и, помешкав, вытаскивают из них за руки души. Некоторых возвращают обратно.

Гемула спит безмятежно, простыня чуть колышется над ее дыханием. Лунный луч гадает по ее ладони. Горлинка в кроне вздрагивает во сне. Облака проплывают на водопой к морю. Гемула утром потяги-

вается перед окном. И склоняет голову, когда луч надевает на нее корону. В полдень в саду плачет, как птичка, котенок. Но Гемула не слышит, перебирая вместе с Шопеном в четыре руки клавиши; грудь ее полнится колоколом звука, руки колышутся, пальцы бегут сквозь вечность.

Жаркий воздух движется в кронах сосен. Немецкая колония полна тени и кипарисов. Гемула обнимает весь воздух руками. Дочь аптекаря Занделя, храмовника, почившего вместе с соратниками на берегу Аделаиды, еще до войны умерла от туберкулеза. С тех пор каждую ночь возвращается в эти руины, чтобы погладить двух львов у порога отчего дома — в Эмек Рефаим — Долине Гигантов, месте, где когда-то обитали двухсаженные големы, — сделанные еще Сифом солдаты-великаны.

Под ней проносятся купола, минареты, мечети. Бога не только нельзя представить, но и Храм Его невозможно узреть. Гемула пролетает над Сионскими воротами и аккуратно присаживается на кровле, под израильским флагом. Внизу в лучах прожекторов среди молящихся женщин больше, чем мужчин. Гемула заглядывает одной девице через плечо, силясь прочесть. Но тут пролетавший ангел сердито грозит ей и прикладывает палец к устам. И Гемула послушно отправляется восвояси.

Жизнь на середине. Мысли об отсутствии страха. О том, что пейзаж теперь интересней портрета. Особенно, если от моря подняться в пустыню. Вади Дарга зимой несет воды, собранные с лика Иерусалима, в Мертвое море. Готика отвесных склонов, скальные соборы, — с их кровли отказался шагнуть Иисус. Стоит заблудиться в пустыне, чтобы встретить себя. Смерть — это объятия двойника.

Тристрамии облетают каньон и меняют курс к оазису — лакомятся финиками и купаться. Пустыня, человек, каменная пирамидка, заклинаяющая духов пустыни, — знак, запятая. Строки тоже призваны за-

клясть духов чистой бумаги. Море проступает на зазубренном горами лезвии горизонта. Противолодочный самолет барражирует над границей. Призрак Лоуренса Аравийского седлает верблюда, и тот встает, не понимая, кто натягивает поводья. Впереди над Негевом толпятся миражи Синая.

«Знаешь, Господи, — шепчет Гемула, — я бы хотела быть смертной, обыкновенной тристрамией — черной пугливой птицей.

Что мне жизнь вне тела — маета и только. Тело — залог соучастия в Творении. Важно обладать обоняньем, дыханием, болью. Что за скука — Твоя хлебная вечность». Вдруг из-за холма раздается скрежет пониженной передачи и навстречу переваливается через гребень пикап, полный скарба, женщин, детишек; бедуины машут руками, улыбаясь. Солнце касается медным зрачком горизонта и заливает пустыню лучистым взором.